И РАССЫПАЛ ГОРОХ

Вживую никогда не увидеть только одну вещь – своё лицо. Но я увидела: глядя на бабушку.

Она называла пакеты сумочкой, заворачивала бородинский хлеб в салфетки и всегда носила с собой сахар в кубиках. На её душе болталась жёлтая казахская кожа и заштампованные старые слова, которые не любят в литературе, – но мир с ней почему-то был свежим и ненадёванным.

До замужества я часто приезжала к ней, в Брянск. Мы готовили хворост и «бабку»[[1]](#footnote-1), смотрели сериалы (не так, как уплетают их обычно, чтобы передёрнуть или обмануть время, – а по-другому; и я больше не умею так смотреть), шили кружевное бельё на зингеровской швейной машинке и вырезали из бумаги безумные, никому не понятные головоломки. Вечером бабушка делала мне массаж. Строился домик из по-
душек, чтобы упереть туда лоб и расслабить шею. В нём было сложно дышать, и наволочки пахли лилиевым ополаскивателем и сиреневым одеколоном.

«Про что сегодня, – спрашивала бабушка, – будем делать?»

И я могла ответить: про гиену или про слона – в кого запросто превращались бабушкины маленькие кулаки; про учениц в классе, которые стукают каблуками и ходят по моим коридорам-рёбрам; про пустыню, по которой идёт караван с верблюдами и связанным Аладдином с обезьянкой на плече, про поезд Москва – Брянск или Москва – Сарыагаш (теперь, когда мы вместе, всё равно). Бабушка водила, водила руками; и ученицы, и слон, и караван ходили по моей жёлтой спине.

Пока взрослый – меньше знаешь себя. Но какое чудо происходит, когда посреди взрослой глухоты, вспоминаешь свою «детскую молитву»[[2]](#footnote-2) –
стих, пословицу или мякиш слов, по которым выучивал себя раньше, которые разминал по слогам и пристально разглядывал, вписывая в эту жуткую понятийную сетку мира. Моей детской молитвой стал массаж про горох.

Рельсы, рельсы,

Шпалы, шпалы,

Ехал поезд запоздалый.

Бабушка снимала с меня футболку и начинала проводить линии вдоль позвоночника, параллельные и поперечные. Лилиевый запах подушек смешивался с бальзамом-звёздочкой или барсучьим жиром, расслаблялась на два оборота моя резинка, приятно покалывало и щипалось в корнях волос. Между началом массажа и следующим сюжетом происходило что-то невнятное; проскальзывало беззвучно за оглушительным спокойствием – и я ничего до сих пор не помню, но потом… Потом бабушка вдруг произносила взахлёб и диминуэндо – так, что слова осыпались и «горох» превращался в барханное «грх»:

И рассыпал горох.

И рассыпл грх.

Горох рассыпáлся там, откуда должны были (так я, клянусь, планировала в детстве) расти крылья.

Я представляла, видела спиной, как склонялось над потерянным под моими лопатками горохом (сколько его там было: килограмм, центнер? И почему поезд вообще так резко, так чудом его просыпал?) по-азиатски раскосое бабушкино лицо, как она улыбалась, мягко и хитро, – так умела только она; как приминали её бока мою скрученную в дырке между стеной и кроватью футболку с этикеткой «6-7». Потом приходили куры, гуси, семья слонов. Тяжёлые вёсны, письма на e-mail, врачи, война – кто только ни приходил. А я бессовестно и неумолимо становилась старше, так, как обычно растут под руками родных.

Пришли куры, поклевали, поклевали, поклевали.

Пришли гуси, пощипали, пощипали, пощипали.

Пришёл слон: топ-топ.

Пришла слониха, пришёл маленький слонёнок…

Бабушка прошла быстро, совсем как простуда.

И когда ей стукнуло сорок дней, а мне – двадцать, я открыла, точно жемчужницу, бабушкину сумку (сумочку или пакет), чтобы нюхать это нежное, только наше содержимое: сахар и бородинский. Я не растрескалась, благодаря, конечно, сильной после массажей спине. Караванам, Алладину, слонам, поезду и пустыне. И благодаря мужу.

Мы решили пожениться в тот самый день, когда бабушке стало сорок. Я хотела, чтобы она успела увидеть нас, хотя знала, что в исламе не всегда считают сорок дней после похорон. Для меня православие и ислам давно сплелись тугой косой, третьей прядью в которой был избыток жизни: не важно, как верить, главное – радовать, когда радоваться нет сил.

Утром после свадьбы в нашем номере пахло ремонтом и чем-то по-февральски свежим, с балкона виднелись поезда с «Киевского», который раньше назывался «Брянский», а дверная ручка в спальне оказалась нежной, как подбородок цветаевского цветка .

Муж стал делать мне массаж, впервые, и я не знала, как он сядет и о чём будет говорить. Но он сделал домик из неудобных гостиничных подушек и начал ставить следы слона там, где у меня в детстве должны были вырасти крылья.

Потом немножко с опозданием нарисовал рельсы и шпалы – может, ему кто-нибудь делал этот массаж в детстве, а может, он знал меня «до»: спрятался в мои семь за машинкой «Зингер» и всё подсмотрел. Слон, рельсы и шпалы получились у него плохо. Но одно – самое главное – он сказал так по-бабушкински, что я оглянулась, с ужасом, посмотреть, не сидит ли она у меня за спиной.

*И рассыпал горох.*

Вот, вот она, с бальзамом-звёздочкой и азиатским лицом, подминает медовыми чак-чаковыми боками мою скрученную футболку; вот она благословляет нас и расслабляет мне резинку для волос на два оборота.

Окно, как форма для печенья, налезало на небо оттенка губной помады; и муж, удивившись, почему я обернулась, продолжал повторять родную молитву-стих. Он придумывал, кто бы из животных мог ещё прийти потоптать горох, кого мы ещё не встречали и хотели бы видеть. Но я видела только, как бабушка говорит со мной сквозь мужа, как тянет ко мне руки, проводит параллельные и поперечные линии вдоль позвоночника. Теперь это не она – теперь это я расправляю спину, чтобы никогда в вечности не сломаться.

1. Блюдо из тёртого картофеля брянской кухни, готовится в духовке. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Мережковский Д*. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. [↑](#footnote-ref-2)